

РУССКИЕ КНЯЗЬЯ

**От Ярослава Мудрого
до Юрий Долгорукого**

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-311
ББК 84(2Рос = Рус)6-44
З-14

Загребельный П.А.

З-14 Русские князья. От Ярослава Мудрого до Юрия Долгорукого. / П. А. Загребельный, — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 320 с. — *(Лица. Эпизоды. Факты)*.

ISBN 978-5-17-100795-9

Перед вами лучшие романы, знаменитого писателя и историка. Они посвящены ключевым фигурам истории Древней Руси.

Время правления Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси князя Владимира Святославича, называют «золотым веком» Киевской Руси: При Ярославе Владимировиче была восстановлена территориальная целостность государства, прекращены междоусобицы, началось мощное строительство во всех городах, вошла в историю «Русская Правда», ставшая первым известным сводом законов на Руси.

Имя Юрия Долгорукого имя окутано пеленой тайн и загадок. Его часто считают бессердечным злодеем. Действительно ли он повинен в грехах и преступлениях, которые ему приписывают? Несомненно одно — ни при каких обстоятельствах он не оставляет попыток объединения русских земель. На пути Юрия становятся боярин Кучка и жестокий коварный киевский князь Изяслав ... Но они не смогли остановить великого князя. Итог его правления — могучее и процветающее государство, которое оставил после себя Юрий Долгорукий. Нескончаемые войны, интриги заговоры, жестокая борьба за власть, коварство, безумная страсть и, конечно же, настоящая любовь — все это в романе Павла Загребельного.

УДК 821.161.1-311
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-100795-9

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Ярослав Мудрый

Год 992 Большое солнцестояние. Пуща

Во оны дни и услышат глусии словеса
книжная и ясен будет язык гугнивых.

Летопись Нестора

В тот день, когда он пришел на свет, повсюду лежали девственно белые снега, и солнце ярко горело над ними — огромное низкое солнце над приднепровскими пущами, и таилась тишина в полях и лесах, и небо было чистое и красивое, как глаза его матери. Видел ли он эти глаза и небо в них и слышал ли ту первую тишину своей жизни? Мать родила его среди молчаливых снегов, и он поспешил подать голос. Старый ДедМороз люто ударил ему в губы, силясь уgomонить первый крик новорожденного, но добрые боги велели морозу идти прочь, и первый крик прозвучал так, как и надлежало, — пронзительно, неудержимо, радостно: «Живу!»

Но память жизни дается человеку не с первым его криком, а потом, она возникает в тебе будто сотрясение будто взрыв, и свое бытие на земле ты исчисляешь с того момента.

Для него мир начался тьмой. Глухая чернота заливала все вокруг, и он барахтался на самом дне ее, в какой-то тяжелой тине, и плакал отчаянно и безнадежно.

Был он посреди бесконечной, ужасающе чужой дороги, сплошь погруженной в темноту. Ничего не знал и не видел. Ноги сами угадывали направление, ноги несли его дальше и дальше по дороге, глубже и глубже в темноту, и ему становилось все страшнее и страшнее, и он плакал горько-прегорько. Тьма затягивала его в себя, поглощала его, и он послушно шел в нее, вездесущую, и только и умел, что плакать.

Так и пронесет воспоминания об этом через всю свою жизнь. Он это был или только приснилось?

Потом был дед Родим. Собственно, и не сам дед, а его руки, две бесконечно широкие теплые лопаты, которые извлекли младенца из черноты безнадежной дороги, а потом как-то странно прикасались к голове мальчика, к жестким, будто на спине волчонка, волосам, и от этого непривычного прикосновения плач перешел во всхлипывание, а потом и вовсе затих и прекратился.

Большущий человек с густыми, тронутыми крутой сединой волосами на голове и на лице, прикрытый спереди шкурой тура, зацепленной толстым ремнем за похожую на ствол старого дуба шею, колдовал над пламенем. Красное, желтое, сизое, а то внезапно вырвется оттуда черное и испуганно спрячется за мерцающую красноту, сиреневая

муть растворяется в нежной синеве — краски рождались, играли, переливались, краски жили буйной, веселой жизнью сначала в горне, потом на лице, на широких дедовых руках, на всей его могучей фигуре, а потом уж плыли и на Сивоока, проходили сквозь него, и он чувствовал, что начинает жить этими красками, этими огненными вспышками в задымленной хижине, а еще он жил отвагой точно такой же, как та, что была в дедовых руках, когда они без страха погружались в бурление пламени и доставали оттуда зацелованные огнем удивительные вещи, которые светились красками, еще более неожиданными и яркими, чем те, которые мальчонка видел на земле и на небе.

Дед был — Родим, а он — Сивоок. Это воспринималось как данность, это начиналось еще до того, как он помнит себя, точно так же, как пламя, как руки деда, как податливая глина в тех руках, как радужность красок, среди которой вырастал малыш.

Дед Родим всегда молчал. Не было людей вокруг; словно спокон веку жил он на пустынном удолье у дороги, ведущей неведомо куда, знал Родим лишь глину и бушующее пламя в горне, молча лепил свои сосуды, бросал на них причудливое переплетение краски, обжигал в горне и складывал под камышовым навесом.

Зачем слова?

Дед круто замешивал глину, бросал увесистый комок на деревянный ишарканый круг, перед тем раскрутив его (приспособление для раскручивания круга ногой было для Сивоока непостижимейшей вещью из всего, что происходило), осторожно приближал к куску глины свои широкие ладони, и глина тянулась вверх, разрасталась, оживала, с веселой покорностью шла за ладонями. Слова здесь были ни к чему.

А уже потом вступали в дело пальцы деда, будто играли на гибкой податливости глины, и из этой молчаливой музыки рождались то красивый горшочек, то высокий кувшин, то вместительный жбан, то причудливая посуда на тонкой ножке. И все молча, без единого слова.

Иногда Родим принимался за другую работу. Не вертелся тогда круг, глина тугими брусками лежала на широкой липовой доске и ждала прикосновения пальцев, а еще больше — влажности красок, которые до поры до времени дремали в надпиленных турьих рогах, расположенных на поставце именно так, чтобы к ним легко можно было дотянуться рукой. В такие дни Родим передвигался по хижине с несвойственной для его крупного тела осторожностью, его движения обретали торжественную скованность, он словно бы творил молчаливую молитву древним богам, унаследованным от деда-прадеда, и в самом деле из пламени Родимова горна выходили на свет древние славянские боги, несли в притемненности старой хижины певучее многообразие цветов, и каждый цвет имел свой голос и свой язык, так что лишними казались бы здесь обыкновенные слова с их будничной заурядностью.

Родим никогда ничего не говорил Сивооку, не объяснял ему, что происходит в пламени и на глине, на которую при помощи соломинок капельками наносились певучие краски, зачерпнутые из турьих рогов. Из его уст малыш не услышал названия ни одного из богов, однако вскоре уже знал их всех, уловив это из уст заброд-купцов, которые торговались с Родимом, покупая его посуду и его богов, и уже знал, что четырехликий, сосредоточенный в мудрости своих четырех ликов, обращенных на все четыре стороны света, — Световид, а тот гневливый, искристо-желтый — это бог молний Перун, а зеленый, будто затаенные лесные чащи, — пастуший покровитель Велес, а тот, надутый, как пузырь, с жадными глазами и широкими поздрями — это Сварог, верховный бог неба и света; самым же лучшим показался Сивооку Ярило, щедрый бог плодородия, от которого ярится земля и все живое, добрый всемогущий медно-голый бог, украшенный таким веселым зельем, которое никому и не снилось. Сивоок долго не мог понять, почему именно этот бог так дорог его сердцу, и только однажды, случайно подсмотрев, как Родим с особой старательностью колдует над новым Ярилом, увидел: дед дает богу свое обличье!

В этом Сивоок не усматривал ничего удивительного, потому что давно уже заметил общность между богами и дедом Родимом. Молчали боги, молчал и Родим. Только тогда, когда купцы начинали слишком уж назойливо торговаться, он отрезал односложно своим глухим басищем: «Да» или «Нет», «Мало» или «Пусть».

Родим казался Сивооку величайшей силой на свете, но однажды малыш подметил, как дед молча молился у источника деревянному, неизвестно кем поставленному Световиду, и понял: бог сильнее, чем Родим. С тех пор бог представлялся ему всем, что сильнее Родима. Еще понял он, что есть бог чужой и есть — мой. Договариваться с богами трудно. Они всегда молчат, не знаешь, слышат тебя или нет, угодил ты им или нет. Наверное, боги дают силу. Кто меня побеждает, у того сильнее бог. У Родима бог был самый сильный, потому что дед никого не боялся. Он раздавал своих глазурованных богов, не жалел на них самых светлых красок, а сам довольствовался старинным, посеревшим от времени и непогоды, деревянным Световидом, потому что был уверен в его неодолимости.

Купцы, сколько их видел Сивоок, мало чем отличались от деда. Были сильными, очень грозными на вид, хорошо вооруженными, обладали такими громкими голосами, что хотелось заткнуть уши. Однако они сразу видели, что на Родима их голоса не действуют, потому переходили от крика к угрозам, хватались за мечи, звали слуг, и те проталкивались в хижину или под камышовый навес. Наставляли на старика длинные копыя. Конец всегда был один и тот же. Родим незаметным для постороннего глаза движением протягивал руку к столбу, подпи-

равшему крышу, и вот уже в его тяжелой руке коротко сверкал невероятно широкий и длинный меч, и обрубленные одним ударом копья сыпались к ногам старика, а маленькие мечи купцов со звоном падали следом. Мечи были развешаны у Родима на всех столбах, одинаково широкие, с черными рукоятками, без ножен, он никогда не точил их, но ничего более острого Сивоок не видел; никогда не чищенные, они не тускнели, не ржавели, в них можно было заглядывать, как в тихую прозрачность воды. Однажды Родим забыл повесить меч после особенно горячей стычки с купцами-грабителями, он просто прислонил его к столбу и принялся за свою работу, и тогда Сивоок тайком попробовал поднять оружие, ухватился обеими руками за рукоять, наклонил тяжелое железо на себя, дернул и упал, накрытый безжалостной тяжестью.

Родим молча снял с него меч, повесил на столб, а Сивоока легонько толкнул под бок, как толкал его каждое утро, чтобы он просыпался и вставал завтракать.

Ели они рыбу, жареную, вяленую и соленую, мясо копченое и свежатину, хлеб, преимущественно просяной, реже ржаной, а пили воду и мед, старый, выстоянный. И хлеб, и меды — все это у них было среди запасов, приобретенных Родимом у купцов, и лежало в маленьком чулане без окон, где хранились у них также меха вевериц, куниц, бобрювы и соболя, шкуры волчьи и медвежьи, мотки серебряной проволоки и заморские монеты, нарубки из драгоценных металлов и дорогие гривны — целое сокровище, ценности которого Сивоок еще не мог знать.

Рыбу ловили в речке, а мясо добывали на охоте в пуще, куда Родим брал Сивоока чуть ли не с первого дня, как тот стал жить у него, выловленный из мутной ночной тьмы, и, быть может, именно во время этих изнурительных странствий среди лесной безбрежности более всего набирался Сивоок силы, которая должна была когда-то сравняться с силой Родима.

Потом к ним присоединился третий. Назвать его товарищем Сивоок не мог, а Родим никого никак не называл, потому-то третий был не товарищ, а просто третий. А был это конь. Впервые Сивоок увидел коня издали, когда тот пасся на лугу возле речки и дед Родим позвал его свистом. Издали это было что-то пепельно-серое, мохнатое, довольно неказистое. Но когда конь подбежал ближе и Сивоок увидел его крутую шею, широкую грудь, крепкие тонкие ноги, которые, казалось, звенели, с разгона ударяясь в землю, — конь ему сразу понравился, и он молча мысленно назвал его ласково Зюзь, потому что когда дед Родим звал его, то к своему свисту прибавлял еще глухое гудение голосом, и получался неповторимо-удивительный звук: зю-зю-зю.

Однако Зюзь не разделял симпатии малыша. С первого же раза он дал понять, что объявляет Сивооку войну, а вся провинность мало-

го заключалась просто в самом факте его существования, да еще, вероятно, в том, что он вклинился в старую дружбу двух отшельников: коня и Родима. Зюзь принадлежал к свободным созданиям природы, он не ведал угнетения и покорности, не знал, что такое запряжка, и с нескрываемым презрением смотрел на тех жалких коняг, которые тащили по размокшей дороге купеческие повозки на скрипучих колесах; если и подставлял он свою спину Родиму, то в глубине своей конской души, видно, считал, что это не человек идет с ним в пушу, а наоборот, он, конь, берет человека себе в попутчики в дальние странствия, по которым он истосковался на привольных пастбищах.

И вот этот установившийся порядок сразу же был нарушен, как только Родим, прежде чем сесть на коня самому, примостил на переднюю луку седла какое-то новое, чужое существо, которому даже пробормотал что-то ласковое, чего конь от него никогда не слышал. Зюзь ждал, что будет дальше. Конечно, он мог ударить задними ногами, подбросить круп так, что этот малыш кубарем полетел бы через голову, или же, наоборот, встать свечой на задних ногах, перегибаясь назад, чтобы сбросить непрошеного всадника на землю. Но это было бы нечестно по отношению к старику. Поэтому конь терпеливо ждал.

Дальше старик привычно поставил ногу в стремя, оперся всем своим тяжелым телом так, что коня поперекосило и он должен был напрячь все силы, чтобы твердо устоять на месте, потом было мгновение, когда тяжеленное тело Родима летело над спиной коня и для Зюзя наступило облегчение, потом Родим прочно уселся в седле — так, что даже хребет прогнулся у Зюзя, и только теперь конь от удивления перешел к возмущению таким неслыханным нахальством, такой изменой со стороны своего единственного на свете и, казалось бы, верного товарища, и в конской душе тотчас же созрела месть против того, кто отважился встравать между ними двумя — между конем и человеком: Зюзь змеино выгнул шею, скосил сизый влажный глаз направо, чтобы не промахнуться, презрительно сдвинул свои всегда ласково-мягкие, а теперь затвердевшие в ненависти губы, обнажив большие желтоватые беспощадные зубы, и — вот! Конь метил на ногу малыша. Может, он хотел не так куснуть, как испугать для первого раза. А может, и хватнул бы за маленькую икру — кто знает. Но Родим, обычно казавшийся неповоротливым и медлительным, на этот раз опередил коня. Он рванул могучей рукой левый повод, железные удила звякнули между конскими зубами, раздирая Зюзю рот, повернули шею коня на место, а тяжелые ноги деда одновременно с этим изо всех сил ударили в подвздошь, бросая с места в карьер.

С тех пор конь испытывал к Сивооку одну лишь ненависть. Пока перед отъездом на охоту Родим набрасывал на него потник, пока прилаживал седло, Зюзь норовил то наступить острым копытом малышу

на ногу, то незаметно куснуть его за край одежды или фыркнуть у него над ухом, обдавая своим горячим ненавистным духом.

Родим не пускал Сивоока купаться в речке и вырыл для него маленький омут, в котором вода прогревалась до самого дна и можно было лежать хоть целый день, пуская пузыри, брызгая в сторону солнца, вода прутиком по вязкому дну, что так напоминало мягкую глину под дедовыми руками, в особенности когда прутик оставлял после себя извилистые узоры, — произвольное мальчишечье стремление проложить первые несмелые тропинки в великую державу Умения, где нераздельно властвовал дед Родим.

Зюзь подстерег Сивоока, когда тот вылеживался в омуте. Пасясь на ходу, возвращался он с дальних лугов и еще издали заметил своего противника и, наверное, отомстил бы ему, если бы к своей ненависти добавил хотя бы капельку хитрости и подкрался бы незаметно. Но не такой был Зюзь, чтобы прибегать к хитрости. Он громко заржал издалека, ненавистно ударил копытами о траву и, выворачивая целые комья тяжелого дерна, полетел на Сивоока. Малый не ждал нападения, не готовился к отпору, но и не растерялся, зная, что спастись может только благодаря самому себе. Потому-то, не теряя зря времени, мигом выскочил из омута, попытался бежать в направлении к дедову подворью, но вовремя смекнул, что четыре конских ноги имеют огромное преимущество перед его маленькими двумя, поэтому бросился к ближайшему дереву, подпрыгнул, хватаясь за самую низкую ветку, и полез вверх на зеленую ольху, оставив Зюзя с его ненавистью и неутоленной мстью.

И хотя на первый раз Зюзя постигла неудача, конь утвердился в своей ненависти и после этого случая упорно пасся возле ямы, так что малышу теперь не выпадало покупаться, разве что водил его иногда к речке дед Родим, который сам не купался никогда, видимо, побаиваясь, чтобы берегини и водяной не отняли у него силу и умение.

А Зюзь с каждым днем все больше зверел. Он решался даже на то, чтобы преследовать Сивоока уже на подворье. Пасся совсем близко, и как только малый появлялся во дворе, сразу же слышно было глухое гудение копыт и широкогрудый враг Сивоока появлялся, будто сонное видение; малыш успевал заскочить назад в хижину, скорее закрывал за собой двери, запирали их на крепкий дубовый засов, а конь подлетал с той стороны, становился на дыбы, бил копытами в дверь и уже не ржал, а рычал, будто дикий зверь: «Ггы-гы-гы!»

Казалось, нет на свете силы, которая могла бы примирить коня с малым Сивооком. Не помогали и длительные перерывы в их странных отношениях, когда на зиму дед Родим прятал коня в теплую землянку и Сивоок мог видеть Зюзя лишь в дни охоты. И тогда, привыкший к отсутствию своего врага (а отсутствие давало надежду и на окончатель-

ное его устранение), оказываясь с ним снова с глазу на глаз, конь вновь разъярялся и, уже не пытаясь скрывать перед Родимом своей враждебности к малому, проявлял ее, как только мог, — неистово и бурно.

Захваченный своей враждой с конем, Сивоок не замечал множества событий и вещей, которые его окружали, и, возможно, только в дальнейшем будет он вспоминать время от времени тот первый сладкий восторг от широкого мира, который открылся перед ним еще тогда, когда он впервые поднялся над землей, взобравшись на дерево, чтобы спастись от крепких зубов Зюзя; или же внезапно вспыхнут в серой тоске повседневности яркие пятна, закружатся в бесконечном пестром танце — глаз не оторвешь (дед Родим растирает свои краски в круглых деревянных ложках с отломанными черенками); а то среди огромнейшего многолюдья вдруг окружают его непроходимые лесные чащи, земли без дорог, испещренные следами диких обитателей — нахально уверенными, несмелыми, пугливыми; и рыба, которую сам впервые вытряхнул из верши, и гнездо с желтоватыми птенцами, найденное в кустах, и черепаха, потерявшая яйцо на теплом песчаном пригорке над далекими болотами, и шум ветра, и крик мрачной ночной птицы-вестницы, и треск вскрывающегося льда на речке — все это будет навещать его в жизни то чаще, то реже, то будет еле ощутимо виднеться на окоемах снов, то будет греметь всевластно до звона в ушах, до слез в глазах, до щемящей боли в сердце.

А из людей вслед за дедом Родимом в жизнь Сивоока вплетается Ситник. Ситник — это копна светлых волос, бегающие глаза небесного цвета, жадный краснотелый рот, обильный пот на пухлом лице, крупный, неудержимый пот и в летний зной, и в зимнюю стужу.

Ситник привозил Родиму меда. Он знал толк в нелегком умении ситить это питье, высоко ценимое и князьями, и боярами, и пришлыми купцами, и мужественными воями, и простым людом. Родиму привозил он меда в жбанах, сделанных самим дедом (Сивоок вельми удивлялся, что для себя дед не разрисовывал никакой посуды), небрежно выставлял их из лубяного возка возле хижины и, вытирая пот с лица, кричал:

— Эй, Родим, привез тебе добра! Кабы не для тебя, так и не трудился б. Но давнее мое почтение...

Родим молча выносил ему кусок серебра, бросал презрительно, Ситник ловил его, взвешивал на ладони, и Сивоок каждый раз все больше убеждался, что уважает Ситник вовсе не деда, а эти куски тускло-ватобелого металла. Не мог понять, как можно ставить металл выше человека, хотя со временем и сам перенимал от деда восхищение мягкими переливами цветов, а серебро, в особенности же в местах среза, давало такие неожиданный прекрасные переливы, что любоваться ими парень мог хоть и полдня. Даже золото не нравилось ему так, как се-

ребро, ибо в золоте была какая-то скрытая чванливость, оно отливалось желтым — холодным и далеким — светом и напоминало этим неуловимость ночных огней на болотах и опушках. А серебро сияло ласково и мягко, будто подернутое легкими облаками летнее небо. Сивооку каждый раз становилось обидно, когда дед отдавал аккуратно обрубленный кусок серебра за такое, казалось бы, невкусное снадобье, как мед, прогорклый от трав и корней, заваренных хитрым Ситником, а еще не хотелось ему, чтобы этот красивый тускло-белый кусок ложился на пухлую (тоже потную) ладонь светловолосого Ситника.

Обладая незаурядным житейским опытом, Ситник довольно легко улавливал неприязнь к себе, поэтому неудивительно, что он по глазам малого прочел все, что у того было на душе, и с первого же раза начал изо всех сил склонять его на свою сторону. Делал он это на всякий случай, зная, что в жизни все пригодится, ведая хорошо, что лишний приятель, пусть пока и ребенок, всегда лучше, чем еще один враг, пусть самый ничтожный и бессильный.

Так и началось заигрывание Ситника с Сивооком в первый же приезд к ним потливого медовара.

— Ну, как называемся? — пристал он к малому.

— Не ведаю, — буркнул тот в ответ.

— Похож еси на своего деда Родима. Родим, как называется этот пострел?

Родим только и ждал этого вопроса, чтоб показать Ситнику свои покатые могучие плечи, а за ним и малый, по-медвежьи сутулясь, двинулся в хижину, оставляя растерянного Ситника с раскрытым от удивления ртом.

Но не таким был этот человек, чтобы отступить в задуманном. Уже в следующий раз он хитро щурился, выставляя из лубяного короба простенькие скудельные жбаны, и когда получил свое серебро и заметил сверкающий взгляд, которым малыш сопровождал полет белого обрубка с Родимовой руки в чужую ладонь, не таясь, засмеялся.

— А я уже знаю, что ты Сивоок. А что приبلудный — догадался сразу. Глаза у тебя не сивые, как нарек твой Родим, а мутные, потому как пришел из безвестности. И кто ты еси, никто не ведает. Может, робичич?

На этот раз Ситнику пришлось наблюдать не покатые плечи Родима, повернутые к нему, а краткий взмах тяжелой десницы, которой Родим показывал медовару немедля убираться прочь. От купцов Ситник уже давно знал, что эта рука довольно быстро умеет браться за страшный меч, поэтому не стал мешкать и мгновенно погнал свою кобыленку со двора.

Но Ситник и после этого не переставал цепляться, хотя делал это хитрее и словно бы напрашивался на благорасположение.

Сивоок очень удивлялся деду Родиму, что тот выбрал для жительства такое хлопотное место у дороги, на самом краю удожья. Правда, тут была еще и река, и зеленые луга вдоль нее, зато в дальнем конце удожья начиналась пуща, где можно было бы спрятаться не только от Ситника, но и от всех надоедливых, нахальных, самоуверенных купцов, которые каждый раз так пренебрежительно смотрели на Родима, что сердце малыша вскипало гневом. Он уже тайком брался за дедов меч, пытался даже поднимать его, но еще и до сих пор не решался спросить у деда, почему бы ему не перебраться если не прямо в пущу, то хотя бы на тот конец удожья, где бы его никто не нашел и где бы никто не причинял ему никаких хлопот.

Он тогда не знал еще, что как ни тяжело бывает иной раз среди людей, но нужно с ними жить, потому что без них никак нельзя. И сам он со временем пойдет дальше и дальше в люди и попадет в такой водоворот, какой даже не снился всем его предкам до десятого колена, но это будет потом, а пока наибольшую радость испытывал он в те дни, когда они с дедом снимались со своего беспокойного конца удожья и углублялись на несколько дней в затаенный мир тысячелетней пущи.

На мокроземлях курчавились чернолозы, а за ними плотные ряды ольхи с замшелыми серо-зелеными стволами, лес словно бы проваливался к середине, земля под копытами Зюзя убегала вниз и вниз, деревья становились выше и выше, Сивооку становилось страшнее и страшнее, и он прижимался к спине Родима, поглядывая вперед одним лишь глазом, ждал, когда же наконец выровняется лесная земля, когда исчезнет ее покатошь, но лес проваливался все больше и больше; иногда он милостиво выпускал заплутавшихся ездоков на прогалины, перед ними открывалась могучая дубрава с полянами, изрытыми табунами вепрей, и гигантские дубы спокойно стояли вокруг, соединяя лес с небом, не давая лесу опускаться еще ниже, однако за дубравами вдруг расстилались зелено-ржавые топи, круто спускались вниз, в бултыхание таких непроходимых дебрей, где ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит.

Самым же удивительным для Сивоока было чудо возвращения: как бы долго они ни странствовали в пуще, как бы низко и неуклонно ни проваливалась она перед глазами малого Сивоока, в конце концов получалось так, что они возвращались домой, на ту же самую заросшую чернолозами опушку, хотя ни разу не заметил он возвращения назад, вверх, к той исходной точке, с которой всегда начинался их спуск вниз. Это было непостижимое чудо. Всему можно было научиться: слушать голоса леса, чувствовать по следам и метинам, где и когда какой зверь прошел, знать, где живут и гнездятся разные птицы, уметь стрелять из лука и бросать копьё, свежевать пойманного зверя и печь на огне мясо, разводить костер и отгонять страх перед темной ночью и

хищным оборотнем. Но он не в состоянии был постичь жутковато-необычного проваливания леса к середине, к глубине, бесконечного опускания, из которого, казалось, никогда не будет возвращения, однако возвращение наступало каждый раз просто, легко, так, будто пуща брала их на руки и незаметно выносила из своих дебрей, как бессильных, заблудившихся детей.

Все это чем-то напоминало Сивооку его препирательство с конем Зюзем. И здесь шла давняя, упорная и молчаливая борьба между отважно-настойчивым человеком и темной, неисходимой силой пущи, имевшей в себе деревья, воды, травы и, наверное же, множество богов, куда более сильных, могучих и хитрых, чем те, которых так умело делал дед Родим, главное же — богов еще неведомых, не раскрытых, таинственных и потому во сто крат более угрожающих.

Для Сивоока и то и другое зловеще переплеталось. Если бы он мог сказать о своих страхах Родиму, быть может, он отогнал бы боязнь, но, приученный дедом к молчаливости, переносил свои страхи в одиночестве, не делясь ими ни с кем, потому и должен был жить дальше, прислушиваясь к тому, как нарастает в нем тревога перед конем, без которого они с дедом не могли отправиться на охоту, и перед пущей, которая влекла и одновременно отпугивала своей непостижимостью.

И то ли уж детская душа тоньше настроена к звучанию предосторожностей, а Родимова очерствела от долгой жизни, то ли суровая закономерность бытия требовала, чтобы счастливое завершение всех приключений хотя бы раз уступило место концу несчастному, трудно теперь точно определить причину, однако непредотвратимое случилось.

Они преследовали раненого оленя. У оленя была стрела в бедре, далеко уйти он не мог и быстро бежать тоже, — видимо, не было у него сил, — но уже и у Зюзя вспотела шерсть и все тяжелее и тяжелее екала селезенка, а олень все не показывался, след его бегства Родим узнавал то по сломанной веточке, то по листику дерева, забрызганному кровью, то по удивительному следу трех копыт (раненую ногу олень, видимо, каждый раз приподнимал и на землю не ставил, чтобы не причинять себе излишней боли).

Олень спешил вниз, в самую глубину пущи, он забирался во все более запутанные чащобы, но, как это часто бывает в лесу, заросли внезапно расступились, и в лицо преследователям ударило гнилым запахом болот. Зюзь от неожиданности остановился, будто врытый в землю, так что всадники чуть было не перелетели через его гриву, но Родим ударил коня в подвздошь, гоня вперед, прямо на ядовито-зеленые купины, потому что впереди — совсем рукой подать, в двух конских прыжках от них — стоял раненый олень и смотрел на своих убийц глазами, в которых блуждала черная смерть.

Зюзь крутнулся туда и сюда, попробовал даже молча огрызнуться на Родима, словно это был малый Сивоок, но старик все-таки победил коня и послал его вперед, и тот, расстилаясь над землей в отчаяннейшем прыжке, рванулся к оленю, и в чреве у него екнуло что-то так тяжело и страшно, что Сивоок даже испугался, но, видимо, Родим первым услышал этот страшный звук, и все это происходило с такой молниеносной быстротой, что старик не успел даже крикнуть, а сумел лишь рвануть малого из-за своей спины и выброситься вместе с ним в сторону еще быстрее и стремительнее, чем Зюзь полетел в трясину.

Они упали одновременно на самом краю над химерно зыбким зеленым покровом, а в следующий миг почти рядом с ними Зюзь беззвучно прорвал тонкими ногами болотную зеленую шубу, не задержался ни на чем, мгновенно погрузился ногами в самую глубину и начал тонуть в густой тине, надувая живот, еще держась им на ненадежной поверхности, которая покачивалась под ним, разрывалась, выпускала из-под низу мутные струи грязи; топь вздыхала под конем, булькала, пока он беспомощно барахтался ногами, надеясь опереться ими о что-нибудь твердое, и на отчаянную борьбу коня с черной засасывающей глубиной смотрели с одной стороны обескураженные люди, а с другой — недостижимый теперь олень.

Потому что им нужно было спасти коня. Нужно было спасти мощника и друга, а какой это верный и неизменный друг Родима, Сивоок понял по тому, как тяжело застонал старик, застонал отчаянно, как и конь, когда, побарахтавшись ногами и не выбравшись на купину, тот замер в надежде задержаться на поверхности, боясь еще больше расшатать ненадежную топь, но все равно погружался в болото, медленно, неотвратно, жутко.

Родим метнулся в перелесок, взмахнул широким своим мечом, срубил толстое молодое дерево, бросил его Сивооку под ноги, и тот, не спрашивая, что и зачем, потянул дерево к краю трясины. А Родим срубил еще одно, — кажется, это был дубок, — с удивительной для его тяжелого тела суетливостью подбежал совсем близко к коню, начал подсовывать дубок ему под брюхо. Дубок одним концом мягко вошел в тину; покачивая ствол, Родим подбирался все глубже и дальше под конское брюхо, но вот дубок выскользнул у него из рук, стал торчком, придавленный с одной стороны тяжестью коня; тогда Родим попытался опереть свой рычаг о положенное поперек, подсунутое Сивооком первое дерево, и у него даже что-то вроде бы получилось, конский бок на миг вырвался из вязкого плена, болото недовольно вздохнуло, выпуская свою добычу, но сразу же спохватилось и потащило эту добычу с еще большей силой. Конец дубка ушел из-под скользкого конского брюха, болото самодовольно чавкнуло, и Зюзь погрузился в топь еще глубже. Родим срубил еще более толстое дерево, еще несколько раз